

Сколько лет мы были знакомы с Леонтиной Яновной Андермане (или Лони) — и никогда не доводилось слышать от неё рассказов про лагерные годы. Впрочем, как и от других членов довоенного Общества, выдержавших эту суровую проверку своих убеждений на подлинность и прочность.

При всей тяжести тех впечатлений — какие же искры высекали «удары судьбы» в душах, в которых горел огонь любви! Невольные свидетели этих проявлений сохраняли их в сердце десятилетиями. Но, видимо, есть вещи, которые не должны уходить вместе с теми, кому довелось их хранить. И тут мы не можем не высказать нашей сердечной благодарности тем друзьям Леонтины Яновны, которые помогли ей

приоткрыть этот уголок её внутреннего мира.

В скупых строках — пронзительные штрихи из «неизвестной» жизни Катрины Драудзини, Гаральда Лукина, Рихарда Рудзитиса. Как тут не вспомнить Сказанное о том, что именно на этих людях держалось Латвийское общество в конце 30-х гг. Есть какая-то особая красота, когда о замечательных действиях и поступках тех, кто был всегда на виду, или же «обычных» членов Общества, рядом с которыми прошли годы, узнаёшь уже после их ухода.

Перевод этих записок и краткие сведения о самой Л. Я. Андермане были подготовлены в 1997 г. для очередного выпуска «Свет Огня».

Леонид Данилов

«Тётушка Лония»

Леонтина Андермане, или Лония, как её обычно называли друзья и близкие, родилась 23 сентября 1907 г. в Риге в рабочей семье. Она училась в 4-й средней школе, которая была известна своим поэтическим уклоном, и в гости к школьникам часто приходили Райнис и Аспазия¹ — гордость латышской поэзии. Тогда ребята декламировали стихи, и Райнису особенно нравилось, как юная Лония читает его знаменитое стихотворение «Ave Sol».

Закончив среднюю школу, Лония пошла на актёрские курсы, а когда в Ригу приехал талантливый русский режиссёр и актёр Михаил Чехов² и основал в начале 30-х годов театральную студию, она сделалась его ученицей.

«Четыре года проработала в Новом рабочем театре, — вспоминала Лония. — Потом участвовала в разных кружках. Поступила в Университет, но смогла проучиться только два года — на естественном факультете... И почему такая маленькая зарплата у актёров

и музыкантов? Так до сих пор и не понимаю. Потом 5–6 лет проработала в канцелярии у самого министра иностранных дел Апситиса.

... Я любила музыку. Много бывала на концертах и в опере. Одна. Это уж в последние годы ходила с Ингридой [Раудсепой]. В молодости, когда не было денег на билет, прятала пальто в пожарном ящике у театра, чтобы думали — просто на минутку на улицу выскочила. Всю жизнь себе говорила: нельзя эту связь с музыкой, с искусством утерять.

Книгу *Листы Сада М.* я выиграла в лотерею, которую устраивали на рождество для актёров. И долго её не открывала...»

В кружок Арвидса Калнса³ по изучению Живой Этики она пришла в 1945 году.

В 1950 г. всех членов кружка арестовали. О своих лагерных мытарствах Лония Андермане рассказывает в публикуемых ниже воспоминаниях, которым она предпослала заголовок *Блокада*. Она написала их уже на склоне лет

по настоятельным просьбам друзей. Это трогательная школьная тетрадка, исписанная убористым и всё ещё твёрдым почерком.

В 1958 году она вернулась в Ригу, в квартиру к брату. После лагеря с работой было очень трудно. Поначалу она устроилась на складе трикотажной фабрики, где из лоскутов и обрезков они с подругами — бывшими лагерницами шили себе одежду. Хоть какое-то подспорье...

Позже Лония нашла себе другую работу — снималась в массовках на киностудии и многим тогда помогла подработать там же.

Она жила каждой новой выставкой Рериха, первыми публикациями о нём в газетах и журналах. Делала вырезки и наклеивала их в альбомы. Иногда ходила в оперу и, конечно же, выступала на первых вечерах возобновлённого Латвийского общества Рериха.

У Лонии часто встречались Гаральд Лукин и его молодые друзья. Гаральд читал выписки из Живой Этики, которые постоянно заносил

в свою записную книжку. Читала и Лония. Она была знающим человеком, умела говорить и умела слушать, умела молчать...

Квартирка, где жила Лония, была в старом каменном доме безо всяких удобств. По булыжной мостовой мимо её окон грохотали машины. Летом она часто вставала в 5 часов утра, пока было тихо, открывала окно и, встретив солнце, читала книги Живой Этики, молилась. Молодые её друзья старались летом отвезти «тётушку Лонию» куда-нибудь к морю или в деревню.

С 1993 года Лония, терявшая зрение, переехала при помощи друзей в лучший рижский пансионат для престарелых, расположенный у парка Аркадияс. Туда к ней приезжали близкие ей люди. Она умерла в воскресенье, 29 октября 1995 года, в 13 часов. Тело её было предано огню 3 ноября 1995 года. Пепел, согласно её последней воле, был высыпан в столь любимое ею и священное для неё Балтийское море.

Гунта Рудзите

БЛОКАДА

В 1948 году арестовали Рихарда Рудзитиса. Отправили в Москву. Говорят, били.

Ищу Гаральда Лукина. Но он уехал в горы, и там его арестовали. Обнаружены спрятанные у Милды Лицис⁴ картины Н. Рериха.

Арестовали Катрину Драудзину⁵. Мы, и нас немало, ждём, что же дальше?

Хотя страха нет, рука всё-таки дрожит, когда расписываюсь за сданный — отнятый у меня паспорт. Арестовали. Я — государственный преступник? Ни имени, ни фамилии больше у меня нет. Вместо них на спине номер и первые буквы слов «особый лагерь». Я была в блокаде почти девять лет.

Думаю, что в ЧК всё строилось на запугивании арестованных. На допросы вызывали по ночам, вели какими-то закоулками, по тёмным лестницам. На меня с этих стен смотрели глаза Вл<адыки>, звёзды, они провожали, и долгими блокадными ночами помогали часто — сны.

Следователь с погонами. Поначалу любезен, интересуется Обществом. Но не понравилось, как отвечаю, стал нервничать, орать, размахивать

револьвером у лица... Да, этот может зубы выбить. А иногда вдруг забудется и принимается рассказывать: «Рериховцев запрещено ругать и бить» (хотя Рудзитиса в Москве били), и он за рериховцев уж точно будет награждён. И снова принимается проклинать Гаральда Лукина, говорит, что это самый опасный враг, много хуже всяких там «лесных братьев»⁶. А вот старуха та (конечно, Катрина Драудзина) травила людей, «ведь наверняка есть у них свой приём, рассчитанный на дураков». И т. д. и т. п. Пристрелить — и дело с концом. И снова принимается выспрашивать. Что в том мешке? «Записочки?» (К. Драудзина тогда составляла картотеку для Тематического указателя-словаря к Живой Этике.) Смеётся: «Ну что вы за люди такие? Вот подружка ваша Элза Швалбе⁷ просит подкормить вас, деньги даёт». Нестерпимо хочется спать и есть, но от принесённого кофе и хлеба отказываюсь, сама себе не доверяю — а вдруг после кофе выболтаю что-нибудь лишнее... Нет, нет, нет!

В камере давящие сумерки ночью и днём.

Тусклый электрический свет только раздражает. Воздух ужасный! Камера битком набита. На всём блокадном моём пути было одно и то же — очень строго следили за тем, чтобы не оказались вместе осуждённые по «одному делу». Но, хотя и очень редко, ошибки всё же происходили — мы встречались. То была радость невыразимая... но и разлука уже маячила где-то впереди... В Воркуте и Мордовии чаще всего встречалась с Карлиной Якобсоне⁸.

В камеру вталкивают избитую девушку... Украинки ловко, незаметно помогают, рвут на бинты подола своих рубашек — перевязать раны, и рубашки их делаются раз от раза короче. Эстонки, литовки и частично латышки помогают только своим — это я отмечаю. Конечно, характерно, что большинство здесь старается хоть как-то разогнать гнетущую тьму — кто как умеет. Чем-нибудь из присланного с воли пробуют подкупить дежурных надзирателей. В одиночную камеру просунули мне кусочек пирога: «От вашей старушки», — шепчет надзирательница. Понимаю, что это от Драудзини — сегодня ведь у неё день рождения. Большая радость. «Радость» есть не могу — плачу.

Девушка подметает в камере веником из только что распустившейся берёзы. Впервые в жизни прочувствовала, какое это чудо — берёза...

К нам поместили девчоночку. (Украинки почти все молоденькие, чуть не со школьной скамьи, им по 16–17 лет.) Она с восторгом читает молитву, которой научила её Драудзиня — это как бы пароль, все камерницы выучили её:

Пусть благословен будет Мир,
Пусть благословенны будут Высоты,
Пусть благословенны будут Низины,
Пусть благословенны будут Утра,
Пусть благословенны будут Вечера,
Пусть благословен будет Юг,
Пусть благословен будет Север,
Пусть благословенна будет Вселенная.

Спасибо Вам, госпожа Драудзиня!

Рождество в Рижской тюрьме. Азбука морзе слышна почти во всех камерах — надзиратели бессильны; пусть потом карцер — не всё ли равно? «Бессмысленность — конечна. Цель —

бесконечна. Мысль — самый могучий двигатель жизни». Да, да, да. Тяжко в душной камере...

Надзирательница не может утерпеть: «Только что выпустили вашу старушку». Это сообщение меняет ход моих мыслей, и я думаю о том, каково же в её возрасте выдерживать всё это.

Здесь на каждом выдохе впадаешь в обморочное состояние, потом вдыхаешь — и снова в обморок. Как трудно сердцу! По стенам стекают капли воды, одежда пропитывается влагой, хлеб тоже быстро отсыревает. Вынесли из камеры...

Перед тем как меня арестовали, положила в сумочку Портрет [Владыки] (маленький). Сумочку отняли, когда из ЧК переводили в тюрьму. Потом сумочку отдали; и я знала — Портрет точно там... В машине, когда везли нас, посадили рядом с шофёром, не зная, куда меня, единственную женщину, девать. Открыть сумочку не смогла. Мужчины выкрикивали свои фамилии: «Где моя жена? Видела ты её? Жива она?» Кричали все сразу, ответить было невозможно. Конвой бранился. Отвели в тюрьму. Прямо из коридора впахнули в карцер — и вот здесь, в крошечной тьме, я нащупываю Портрет. Проталкиваю под подкладку жакета. Через какое-то время сообщают, что меня отправят назад — вышло недоразумение. Будто бы есть мужчина с такой же фамилией. Вот вам и «недоразумение». Портрет хранила вплоть до вынесения судебного приговора (тогда нас всех собрали вместе). И я отдала Портрет К. Драудзине. Она держала Портрет у сердца. Ей помогала дисциплина сердечной любви. Для этого нужны годы и годы.

В подвалах ЧК — люди такие разные, и думают они тоже по-разному. Бывало ведь и так: отца-мать забирали, и дети, игравшие в это время во дворе, оставались одни. О себе здесь меньше всего думается. Главным-то образом о дорогих сердцу, о домашних (если они ещё дома). «Хоть бы из-за меня их не мучили...» — проносятся вихрем мысли... — острого предмета здесь нет... вот и пытаешься прокусить собственные вены...

Слышу — пожилые женщины, что на верхних нарах, произносят: «Рериховцы»; прислушиваюсь — говорят о нашем докторе, Гаральде Лукине, и одна из них рассказывает, как он спас больных её детей. Была у него с тремя детиш-

ками. Денег не взял и дал ещё сладостей на дорогу и лекарства. Услышишь такое — и воспрянешь духом. А другая рассказывает, как следователь и Лукин кричали друг на друга...

Наплывают и обиденные мысли: как-то вспомнила, что ещё совсем недавно спущенная петля на новом чулке — какая глупость! — могла испортить настроение на целый день. Да, вот это здесь с тобой и происходит — переоценка ценностей и инвентаризация... Жаль, что обещанная «свободная жизнь» свернула на «старые рельсы».

Замечаю, что первая и последняя мысль здесь — о Матери (в большинстве своём не о муже и даже не о ребёнке, но о Матери!!!).

Наступает тот вечер, когда из тюрьмы ведут к поезду — большой колонной, с конвоем, собаками, прожекторами, и нас молча провожают люди, они взобрались на деревья и столбы у края железнодорожной платформы; многие нас крестят: ещё бы, Воркута!

За полярным кругом, в лагере особого режима, определяют в штрафную бригаду. Разрешается отправлять и получать по два письма в год. В бараках теснота. На нарах в три этажа каждой отпущено по три доски, спим, зажатые с двух сторон, поворачиваемся на другой бок по команде, укрываясь сырыми бушлатами. А утром выходим на мороз, натягивая всё те же бушлаты, и шагаем на работу. Хочется есть — и больше всего хочется хлеба. Мысль уплывает куда-то в темноту...

Северное сияние! В эти непроглядно чёрные дни и ночи жду, когда вспыхнет северное сияние, эта невыразимая игра света. Небеса спускаются прямо к нам! Хочется идти и — уйти в северное сияние. Всё в природе напряжено до предела. Божественно... Какая потрясающая красота. Кажется — блокада прорвана! Всё обретает иной смысл...

Но люди боятся — не выходят, отрицательно качают головой... «Монашки» в хаосе барака громко молятся.

Вообще-то трудно успокоить взбудораженных людей. Это редко кому удаётся. Бывает, что хочешь успокоить, а на тебя набрасываются — называют «стукачкой», шпионкой, предательницей. Подобные случаи кошмарны, ведь тебе объявляют войну. Как же быть, как вселить надежду? Но и это нужно было пережить.

Все эти годы очень редко выпадало счастье встретить друзей — да и то ненадолго. Чекисты боялись таких встреч. В Воркуту с новой партией заключённых прибыли Карлина Якобсоне, Бируте⁹ из Литвы, Лида Калнс¹⁰, Оля Катенёва¹¹; всего два дня их и видела; меня тут же отправили в Мордовию — вместе с уличными девицами, убийцами и т. п. Сама дорога была страшно тяжела. Ехали с остановками два месяца. Прошла через самые ужасные тюрьмы России. Сидела в камере, где когда-то умерла женщина, совершившая покушение на Ленина. Старая тюремная надзирательница рассказывала, что Ленин велел держать эту женщину в камере, где днём и ночью горела бы яркая электрическая лампа; и чтобы давали ей есть и пить всё, что ни пожелает (в то время? трудно поверить!), ибо когда её спросили, зачем она это сделала, она отвечала, что хотела, чтобы всего у неё было с избытком, но из-за Ленина это стало невозможным. Она недолго так просидела — прокусила себе вены...

Стало вовсе невыносимо. «Бытовики» иногда врываются в камеры к проституткам и устраивали кровавые побоища. Всё происходило в темноте — первым делом разбивались лампочки. Меня женщины предупреждали заранее — я ложилась спать «упакованной». Потому, верно, охраняли, что отдавала им свою долю мелкой солёной рыбёшки «комси-комса»: кормить-то ею кормили, а пить не давали. Теперь понимаю, что то была своеобразная пытка, придуманная чекистами.

Помню, как в Воркуте появилась в нашем бараке «дневальная» — по-своему весьма интересная, даже эффектная особа — уличная девица, литовка. Ненавидела нас, политических. Ненавидела нас всех, без исключения, и пакостила как могла. Её боялись. Но вот те из нас, кто стал нетрудоспособным, оказались на третьем этаже нар — нам дозволено выжить или умереть. Мне отвели три доски рядом с заболевшей злоющей «дневальной». Слышу — ночью плачет. Наверное, думаю, замёрзла девчонка, и укрыла её своими тряпками. Вообще-то она не терпела никакой помощи, считала, что никто ничего не делает просто так, без задней мысли. Всё равно было от души её жалко. Интересно, отчего же «такая» может

плакать, отчего страдает это каменное сердце? Но вот лёд стал таять — слово за слово, и она начала со мной разговаривать. Рассказывала, что маленькую свою сестрёнку отдала в детский дом, чтобы не стала «такой», как она, уже с детства прозванная воровкой. Пусть у сестры будет другая жизнь. Заработав деньги, послала в тот детский дом, но начальство сообщило, что сестры её там уже нет. Что же ей теперь делать? Днём ещё ничего, но ночами плачет. От горя и гнева. Спустя какое-то время соседка моя исчезла — пошла работать на кухню, поборов свою гордость. Арестовали её как «бытовика», но потом на окошке барака она однажды выцарапала имя Сталина и рядом — «губитель». За это-то завели на неё новое дело и прислали к нам.

Прошло время; каждое утро у себя в ногах я находила то картофельные очистки, то корочку хлеба. Кто же это мне помогает? Про себя решила — это она, всех ненавидящая, делится со мной своим последним куском... А потом и я смогла вернуться в бригаду.

Утро. Пурга только-только угомонила, наша колонна шагает на работу. Навстречу плетётся другая, отработавшая ночную смену. Вообще-то колонны ни в коем случае не должны встречаться, ибо часто происходят «чп», с которыми конвоиры не справляются, даже собаки не помогают. Двигаются колонны рядом. Сквозь вой ветра доносится крик: «Тётя Валя!», бригада ему вторит, кричит уже вся колонна: «Тётя Валя!» Это приветствует меня каменное сердце. Блокада тоже может дать трещину. Куда ей до дружбы!

Воркута! Хочется в баню, к воде. Весь день возили снег. Моё желание сбывается — меня назначают «начальником бани». Знаю, будет очень трудно. Привезённый бригадой снег нужно растопить, а воды на всех не хватит. Однако девочки мне завидуют, ещё бы, рядом работают мужчины — пекут хлеб. Я себе не завидую. Но идти нужно. Причины для отказа нет. Проходят сутки. С работой не справляюсь, не хватает сил. На следующий вечер является конвоир: «Пекарня в гости зовёт». Не пойти нельзя. Меня ведут. Ночь такая непроглядная. Отворяются двери, всё плавает в тумане, но вот я различаю нескольких совершенно голых мужчин, которые берутся у пылающего зева

печи. Всё поняла... Выбор у меня большой... Я очень спокойна. Ум работает чётко. Своего голоса не узнаю. Грозят: смотри, бригада без хлеба останется. Из-за меня — и все без хлеба? Иду на риск — направляюсь к дверям... Конвоир ругается, сплёвывает, ведёт обратно. Силы покидают меня — едва плетусь пошатываясь. Что-то теперь будет? И баня не приготовлена, и без хлеба остались. Но хлеб был, и был карцер. И надо было ещё раз найти в себе силы. Блокада ведь не продлится вечно. «Вл<адыка>, я знаю свой путь». — Да, да, да!

Воркута. Эпидемия в лагере? Мы возвращаемся с работы. В лагере никакого движения, тихо, пусто. В одном бараке с зарешёченными окнами собрали всех больных. Они встречают нас криками. Что же делать? Как помочь? Дежурных не видать. Карлину часто посещают потрясающие идеи. Я только что получила посылочку для Августы Манделькорн. В ней белые конфеты — мятный горошек. Карлина где-то раздобывает банки, мы собираем конский щавель, растущий у лагерного забора, рвём на мелкие кусочки и заливаем водой. Прихватываем ещё Карлинин сахарок и белый мятный горошек. Всё приходится делать очень быстро. Таясь, через решётку, даём каждой пить настой. Всё вместе называется «чудо-лекарством» и сопровождается словами: «От этого пройдёт, будет хорошо». К сожалению, всем не хватило. Те, кому лекарство досталось, просто ликуют. Назавтра проделываем ту же операцию. По счастливой случайности мы с Карлиной спим рядом. Сон к нам нейдёт, мы куём планы. Чудо-лекарства не хватает. Оно «здорово» помогает. Женщины за решёткой ждут...

Но вот в лагере появляется новый большой этап. Тут и Лидия Калнс, и Бируте из Литвы — она старый, закалённый боец, и Оля Катенёва. Меня и Карлину вызывают к лагерному начальству — обвинение в знахарстве. С новым этапом в лагерь прибывает врач, латышка, и ей грех жаловаться на отсутствие работы. Она-то и разъясняет начальству, что навредить мы никак не могли. В лагере готовятся к дальнейшему этапу. Нас с Карлиной пересылают в Мордовию, по секрету сообщает докторша. Однако снова разлучают. Я остаюсь одна, без надёжного друга. Пригрозили, что возобновят дело о знахарстве. Но Сталина уже нет, и мы

легко отделяемся от новой напасти. С докторшей у нас сердечное взаимопонимание, она помогает не только латышкам.

Вспоминается Рождество в Воркуте. Девочки с нетерпением ждали этого праздника, даже пытались сделать свечи. Мороз стоит просто безжалостный, но в сердцах теплится огоньком радость. В каждом сердце таятся мечты о Мире Огненном...

Украинское рождество не совпадает с нашим — и девушки караулят, чтобы не застала врасплох охрана. В углу барака мы тихо-тихо празднуем — плачем, поём, декламируем, а главное, вместе молчим. Это самое прекрасное, самое мощное.

Приехавший из Литвы в Ригу на похороны Рихарда Рудзитиса лагерный его друг рассказывал: «Метёт. Сильный мороз. А у нас праздник. Мы в обеденное время облепили ворота — ждём, когда появится новый этап. Это самое большое событие в лагерной жизни. А вдруг встретишь кого-то из родных мест? Этап приближается. Стоит напряжённая тишина. И вдруг кого-то разбирает смех, а спустя минуту уже все покатываются от хохота. В самом хвосте этапа плетётся „скупой рыцарь“ — сущий оборванец, тащит мешок с „добром“. Мешок величиной с наволочку. Руки и нос обморожены, ведь ладонями здесь прикрывают от ветра лицо, но не таков наш „скупой“ рыцарь, он держится за своё добро. Мы смеялись, потешаясь над ним...

Потом мы ринулись искать своих, и в самом большом бараке нас встретила необычная тишина. Люди окружили сидевшего на корточках „рыцаря“. Он высыпал из мешка своё имущество и стал раздавать его. Это были вырезки из газет и журналов. В них можно было обнаружить сведения по истории и географии; о прошлом и о будущем. Всем хотелось что-то почитать, ведь духовный голод в лагере был гораздо сильнее голода физического. Правда, кое-кто и не знал, что такой существует. Рудзитис собирал все эти сокровища во время этапов по лагерям — чтобы читали, кто хотел. Его забрасывали вопросами, а он застенчиво улыбался, оделял желающих вырезками, ему так хотелось поделиться и мыслями своими, но возможно ли здесь такое? Появился конвой — разгонять!»

Рихард Рудзитис и впрямь стал оборванцем; просить, чтобы ему обменяли истрепавшуюся одежду, было выше его сил!

Вот таким и был наш Рихард Рудзитис — чудаковатый, он так помогал людям и сплывал их.

В Мордовии у меня появился друг — Валда Зоса. Ещё и сегодня мы с ней идём одним и тем же путём. Снова встретила с Карлиной Якобсоне. Нас отпускают на свободу. Карлину вызывают первой — торжественная комиссия, сидят будто на сцене. Карлина вышла размянившаяся, сияющая, ещё бы, за воротами её ждал Бруно¹², чтобы везти домой. Интересуюсь у Карлины: «О чём спрашивают?» Она смеётся: «Подписалась, и всё». Меня охватило волнение: «Под чем подписалась?» Я же знаю, что задержать нас уже нельзя. Она отвечает так: «Борьба ещё не кончена и не кончится, но мы отыщем любую возможность». Вызвали меня. Зачитывают длинный текст и предлагают поставить свою подпись. Отвечаю, что не подпишу, ведь там говорится, что я должна отказаться от идей Рериха. Инсценированное торжество рушится прямо на глазах. Дальше — больше, наши монашки даже и не явились на комиссию. Но меня не простили — и домой не пустили, а отправили в сибирскую ссылку и продержали почти два года. Там, конечно, ждали другие битвы...

Но я ни о чём не сожалею, для меня это была самая высшая из всех высших школ жизни.

Когда объявили о свободе, мы не ощутили той радости, которая звучит у Бетховена в опере *Фиделио*. Многим стало ещё труднее, ведь всё порушено — ни семьи, ни дома...

А свободу сердце понимает совсем иначе. Та блокада выдержана, но до истинной свободы мне очень далеко, и, как сказал об этом Райнис: «Ещё борьбе не видно конца...»

«Кто однажды прикоснулся к Учению Огненному, тот меняет сущность свою вчерашнего дня!»¹³

Так что всё ещё впереди. Когда-нибудь я иначе осознаю Свободу и достигну её!!!

Но вот ещё о сибирской ссылке.

Сибирь. Что сею, то и жну — почти два года мук, и уж, верно, до окончательного «ухода» здесь останусь — домой всё не отпускают, ибо система зиждется на труде ссыльных. Здесь

женщины, и мужчины, и убийцы, и политические. Нет единства. Здесь я никому не нужна. Здесь преобладают люди с «характером» — в материальной плоскости. И с самого начала знает несомневающееся сердце — надо

выстоять, надо бороться. Это не надежда, это ясная весть — да, да, да!!!

Здесь закалялся мой характер — вплоть до того самого дня, когда вышел новый указ.

Перевод с латышского: Наталья Троицкая

Примечания

(Биографические сведения приводятся по:

[Рудзите Г.] Указатель имён... // Письма с Гор. Т. 2. Минск, 2000. С. 539–596;

Рудзитис Р. Юрий Рерих (архив сборника «Свет Огня»);

Карклия И. Капли живой воды. Самара, 1997.)

¹ Райнис Янис (Плиекшанс Янис, 1865–1929) и его жена Аспазия (Розенберга Элза, 1868–1943), народные поэты Латвии.

² Чехов Михаил Александрович (1891–1955), русский актёр, режиссёр, педагог; племянник А. П. Чехова.

³ Калнс Арвидс (1913–1966), юрист, член Латвийского общества имени Рериха в 30-е годы, был репрессирован.

⁴ Риекстиня-Лицис Милда (1891–1975), актриса Национального театра, член Латвийского общества имени Рериха с момента основания; в годы войны хранила картины и книги Общества у себя, была репрессирована (1949–1956).

⁵ Драудзиня Катрина Екабовна (Екатерина Яковлевна) (1882–1969), врач-стоматолог, руководитель группы Женского единения при Латвийском обществе имени Рериха, член правления Общества с 1938 г., составитель тематического словника Живой Этики, была репрессирована (1949–1954).

⁶ Так именовались жители Латвии, которые после прихода советских войск в 1944–1945 гг. скрывались в лесах (до амнистии 1948 г.), надеясь таким образом избежать репрессий типа 1940 г. и переждать, пока Советам под нажимом американцев не придётся уйти. После первого ввода в Латвию советских войск (1940) было арестовано и сослано в Сибирь свыше 40 тыс. человек.

⁷ Швалбе-Матвеева Элза (р. 1903), скульптор, была репрессирована (1949–1955) по делу рериховского общества.

⁸ Якобсоне Карлине (Каролина) (1902–1991), член Латвийского общества имени Рериха с 1937 г., работала экономистом, библиотекарем, была репрессирована (1950–1956).

⁹ Валушите Бируте (1912–1977), из старейших членов Литовского общества имени Рериха (основано в 1935 г. в Каунасе), была репрессирована; работала корректором, литературным сотрудником, последние годы — в музее М. К. Чюрлёниса.

¹⁰ Осташёва-Калнс Лидия Петровна (1912–1994), член Латвийского общества имени Рериха в 30-е годы, была репрессирована.

¹¹ Катенёва-Неймане Ольга Александровна (1908–2001), художница по росписи фарфора, член Латвийского общества имени Рериха с 1937 г., была репрессирована (1949–1956).

¹² Муж Карлины — Якобсонс Бруно (1906–1985), музыкант, член Латвийского общества имени Рериха с 1937 г., был репрессирован (1949–1956).

¹³ Сердце. Париж, 193[4]. § 594.

© Г. Рудзите, 2004

© Н. Троицкая, 2004, перевод с латышского

© Л. Данилов, Г. Трешпа, 2004, примечания

Опубликовано на сайте: 27. 3. 2004